ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

# КОНКУРСНАЯ РАБОТА

**Субъект Российской Федерации:**

Оренбургская область

**Наименование муниципального образования (населённого пункта):**

город Бузулук

**Образовательная организация (полное название):**

«Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука „Средняя общеобразовательная школа № 14“»

**Участник Конкурса:**

Городецкая

*Фамилия*

Яна

*Имя*

Андреевна

*Отчество*

**Класс (курс), в (на) котором обучается участник Конкурса:**

9 "Б"

**Тематическое направление:**

„Культура — это святыня народа, святыня нации" (Д. С. Лихачев): 250 лет со дня основания Большого театра; 270 лет со дня основания Александринского театра; 160 лет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского; 170 лет со дня основания Третьяковской галереи.

**Жанр:**

Рассказ

**Тема:**

Рождественская елка

В зале было довольно душно, по-музейному торжественно и почти безлюдно. Только далеко впереди, у картины Васнецова, стояла экскурсионная группа — человек десять, сгрудившихся вокруг экскурсовода, как ученики вокруг наседки. Экскурсовод говорила негромко, но эхо разносило ее голос по анфиладе, и до Алексея долетали отдельные слова по типу: „монументальное полотно... этический размах... глубина народного духа...". Алексей поморщился, потому что слышал много раз и знал он эти слова — то на заседаниях, то на планерках, в отчетах. Они правильные, но были так пусты, как барабан, из которого высыпали горох. Прошел далеко — мимо суриковских сосен, мимо серовских пейзажей

Поленова, мимо натюрмортов, что смотрели на него со стен с одинаковым равнодушием. Шел не спеша, ну, спешить было некуда. В Третьяковку зашел случайно — так как вылез из метро на две остановки раньше, а на улице начинался дождь, мелкий, противный, московский. Зайти в музей показалось разумнее, чем мокнуть.

Он и сам работал с живописью, реставратор. Один из тех, кто годами сидит в полуподвальных мастерских, склонившись над потемневшими холстами, и снимает с них слой за слоем — лак, копоть, чужую ретушь, чьи-то неловкие попытки „улучшить" то, что трогать не следовало. Он возвращал картинам первоначальный вид — точнее, то, что от него оставалось. Ему было сорок два года, последние три из них он провел в Петербурге, в реставрационных мастерских Русского музея, а до этого — в Новосибирске, в запасниках художественного музея, где климат для хранения живописи был неправильным, а начальство думало лишь в основном о том, как успеть освоить бюджет к концу года. В Москву приехал неделю назад по делу, которое тянулось за ним, как привязанная к ноге консервная банка. Дело было личным и неприятным, и Алексей старался о нем не думать, но получалось плохо.

Свернул в небольшой боковой зал — там было совсем тихо. Здесь висели картины неизвестных художников. Но это не „неизвестный художник круга такого-то" — такие таблички Алексей видел в десятках музеев, а именно „неизвестные": в них полное отсутствие имени, темные, неровные

холсты в тяжелых рамах, портреты и жанровые сценки. Если говорить проще — люди, которых никто не помнил, изобразили людей, которых никто не узнает.

Прошел вдоль стены, остановился у небольшого портрета, на нем молодая женщина в чепце, с бледным, слегка асимметричным лицом. Художник явно не был профессионалом, ведь пропорции были нарушены, рука слишком короткая, фон написан глухо, без глубины. Но в лице была будто не красота и не одухотворенность а какое-то странное, неуловимое выражение, будто женщина только что хотела что-то сказать, но передумала. „Наверное, так и было, — подумал Алексей. — Жена художника или соседка сидела, позировала, устала, хотела спросить: „Долго еще?" — и не спросила". Перевел взгляд на табличку. „Неизвестный художник. Портрет неизвестной. Конец XVIII века".

— Ну вот, — пробормотал он. — Ни тебя, ни твоей жены. И не узнает никто.

— Вы что-то сказали?

Алексей обернулся. Рядом стояла смотрительница — пожилая женщина с усталым лицом.

— Я говорю: неизвестные все, — кивнул он на портрет. — И художник, и дама.

— Это да, — согласилась смотрительница. — Тут весь зал такой. Думают: раз неизвестный, значит, ничего не стоит.

— А на самом деле?

— А на самом деле я не знаю. Я здесь тридцать лет сижу и на них смотрю. И знаете что?

— Что?

— Они... ну, живые. Больше, чем некоторые знаменитые. Те — они как... ну, как парадные портреты — красивые, а человека не видно. А тут — вот же он, человек, смотрит.

Алексей снова взглянул на портрет. Женщина смотрела куда-то мимо него, вправо, в сторону окна. В этом взгляде, действительно, было что-то такое, от чего становилось как-то не по себе.

— Жутковато, — сказал он.

— Ага, — снова согласилась смотрительница. — Я сначала тоже так думала, а потом привыкла, теперь мне с ними спокойнее, чем с живыми. — Она поправила стул и добавила: — Вы реставратор?

— С чего вы взяли?

— Наклон головы и руки. Все реставраторы одинаково смотрят — как будто снимают невидимый слой.

Алексей усмехнулся: — Угадали.

— Я за столько лет кого только не видела. Реставраторы сюда редко заходят. Вам видь только известные интересны, да? Те, за которые деньги платят?

— Мы тоже разные, — сказал Алексей. — Я вот зашел.

— Ну, зашли — и хорошо. Посмотрите на ту картину, вон, в углу — „Семья за столом", там что-то странное.

— Странное?

— Сами увидите. Я к ней иногда подхожу и смотрю, и все думаю: зачем он это написал? Или, может, это

получилось случайно, а, может, не случайно, не знаю.

Она махнула рукой в сторону дальнего угла зала. Алексей прошел туда. Картина висела в простенке между двумя окнами. Она была небольшой — сантиметров шестьдесят на восемьдесят, мало, может. Это жанровая сцена — интерьер деревянного дома. За столом сидели четверо: мужчина с темной бородой, женщина в платке, старая женщина с резкими чертами лица и девочка лет восьми. На столе — простые предметы: миска с кашей, краюха хлеба, ложки. Четвертая ложка лежала отдельно, на краю стола, перед пустым местом, стул с этого места был слегка отодвинут, будто кто-то только что встал.

Алексей прочитал табличку: „Неизвестный художник. „Семья за столом". Конец XIX — начало XX века". Отступил на шаг, прищурился, как привык, оценивая состояние живописи, — и тут его что-то задело. На дальнем плане, за спинами людей, в полумраке комнаты, было окно. На подоконнике, у самого края, стояла маленькая фарфоровая чашка — тонкая, городская, белая, с синей каймой. Алексей смотрел на нее, не понимая, и в груди у него что-то медленно провернулось, ведь всю жизнь такая же чашка стояла на серванте у его бабушки в Новосибирске.

Он помнил ее с детства — сервант из темного лакированного дерева. На верхней полке, с самого края, — одна маленькая фарфоровая чашка с синей каймой, без блюдца. Отец рассказывал, что чашка осталась от каких-то дальних родственников, еще

деревенодомовых. Алексей помнил, как бабушка временами снимала эту чашку, держала в руках и снова ставила обратно. Не спрашивал, что это за чашка, — ему попросту было неинтересно все, что касалось прошлой семьи. Он рос в девяностые, и ему казалось, что прошлое — это балласт, который тянет вниз, когда нужно бежать вперед. Позже уехал из Новосибирска в девятнадцать лет и с тех пор навещал бабушку раз в несколько лет.

Два года назад бабушка умерла. На похороны Алексей не смог приехать из-за работы. Когда приехал через месяц, квартира была пуста, а чашки в серванте уже не было. Куда она делась — никто почему-то не знал. Квартиру, естественно, быстро продали, вещи разобрали. Алексей забрал только фотоальбом, который ему сунула соседка, сам альбом с тех пор он так и не открыл.

И вот теперь — эта картина. Алексей смотрел на чашку и не мог отвести взгляд. Художник написал ее с удивительной для своей неуклюжей манеры точностью — блик на боку, тень, падающая от чашки на подоконник. Синяя линия шла не идеально ровно — в одном месте она чуть утолщалась, как будто у мастера дрогнула рука.

— Не отпускал близко? — раздался голос смотрительницы.

— Простите, просто задумался.

— Вижу. Понравилась?

— Не то слово. — Он помолчал. — Она какая-то неожиданная... что-ли...

— Вот я и говорю. Я к ней лет десять назад присмотрелась. Раньше мимо могла ходить, а потом остановилась — и как будто что-то внутри щелкнуло.

— Что?

— А я не знаю. Может, то, как они сидят. Видите — стул отодвинут, кто-то встал и вышел. А чашка эта... как будто из другого мира, ну, не отсюда. Что она делает в этой избе? Не пойму...

Она вернулась к своему стулу. Алексей еще раз взглянул на картину. Он, конечно, не был склонен к мистике, но сейчас чувствовал, как внутри него что-то сдвигается. Чашка была та самая. Достав телефон, он сфотографировал и саму картину целиком, и фрагмент с окном.

— Скажите, — Алексей обернулся к смотрительнице, — а об этой картине что-нибудь известно?

— Неизвестный художник. Все, что есть, — на табличке. Поступила в музей в 1930 году из частного собрания. Большего я и не знаю.

— Частного собрания? Чьего?

— Там не написано. Может, в архиве что-то есть, но в архивы я, к вашему сожалению, не хожу.

Но Алексей также знал, что у него есть одно преимущество — в Москве жила его старая знакомая, Ирина Соколова, искусствовед. Когда-то, лет десять назад, они встречались. Потом по-хорошему расстались, без скандалов — лишь просто разъехались в разные

города и перестали звонить. Ирина осталась в Москве, работала где-то в выставочных проектах. Алексей слышал о ней от общих знакомых — вроде бы она защитила диссертацию, что-то о провинциальной живописи, и теперь занималась атрибуцией старых холстов из частных коллекций. А атрибуция — это было именно то, что сейчас нужно. Он вышел из галереи, на ходу набирая номер, Ирина ответила после третьего гудка.

— Алеша? — В ее голосе было удивление. — Вот так звонок.

— Привет, Ир. — Он вдруг понял, что не знает, как начать. — Я в Москве, нужна твоя помощь.

— Даже так? Не „привет, как дела, сто лет не виделись", а сразу „нужна помощь"?

— Прости, но мне правда нужна помощь, это по работе.

— Времечко назови.

Они встретились на следующий день в кофейне. Ирина пришла точно вовремя — коротко стриженная, с умными, цепкими глазами, почти не изменившись. Алексей рассказал ей все и про картину, и про чашку, бабушку, альбом, который так и не открыл. Ирина слушала, не перебивая.

— Знаешь, что самое смешное? — сказала она. — Я ведь тоже знаю эту картину, даже видела, но прошла мимо. И я тоже из семьи, где были такие чашки. Их еще называли „кузнецовскими", фарфоровый завод в

Вербилках.

— Кузнецовский фарфор? — Алексей оживился.

— Чашка могла быть из любого сервиза, но конкретно эта — с утолщением на синей линии — может быть, и одна. Дефект росписи, или царапина, которую художник перенес на холст. Я могу попробовать найти информацию. Только не жди чуда, потому что если картина поступила как „автор неизвестен", скорее всего, так оно и есть. В лучшем случае найдем номер поступления и фамилию дарителя.

Она помолчала.

— Но тебе нужно будет делать и свою часть. Бабушкину квартиру продали? Кто разбирал вещи? В общем — найди тех людей и узнай, куда делась чашка. Вещь говорит о своем владельце больше, чем документы.

Алексей вернулся в гостиницу и открыл альбом. На первой странице — студийный портрет. Семья с напряженными лицами: мужчина, женщина, двое детей, а под фотографией надпись: „Семья Никиты Ивановича Чапина. Село Старое Гарбеево. 1912 год". Альбом кончился, но из-под последней страницы торчал уголок сложенной бумаги. Это был пожелтевший конверт с адресом: „Томск, Почтамт, до востребования. И.К.В.". Внутри также лежал лист, исписанный летящим почерком:

„Любезный мой Иван Кузьмич!

... Не спрашиваешь, как мы — живы покуда. Твоя

сестра слегла, но ходит... Картину, что ты писал перед отъездом, я повесил в горнице. Когда смотрю на нее, вот как будто все мы еще вместе, за одним столом, только стул твой пуст... Ты просил про чашку. Чашку твою мать поставила на окно, как ты и велел. Только вчера Вера, маленькая, зацепила ее и разбила... Осколки мать собрала в тряпицу и спрятала в сундук... Ждем тебя, вернешься — сядем за стол.

Твой брат Петр".

Алексей прочитал письмо несколько раз. Значит, настоящая чашка была разбита в 1941 году, но на картине она осталась целой. А художник, Иван Кузьмич, написал свою семью перед отъездом. Еще немного подумав, он набрал Ирину.

— Ир, я нашел письмо. Есть имя — Иван Кузьмич, фамилия, скорее всего, Чашин, а населенный пункт — Старое Гарбиево.

— Алеша, ну... по одному имени и названию села...

— Это же больше, чем просто имя.

— Хорошо, тогда приезжай завтра.

На следующий день Ирина сидела за ноутбуком.

— Старое Гарбиево... Вот. Красноярский край, Боготольский район. Село, основанное в конце XIX века, сейчас, кажется, нежилое и вообще заброшенное.

— Бабушка была из Красноярского края. — Алексей помолчал. — Это ее родной дом.

— Теперь — Иван Кузьмич. Если он художник, хоть и любитель, он все равно мог попасть в списки.

Ирина снова уткнулась в компьютер.

— Вот! Нашла. Чагин Никита Иванович, крестьянин-переселенец, основатель села. У него сын Иван Никитович, значит... отчество не то. А „Кузьмич" — это, может, двоюродный брат. В письме сказано: „Твоя сестра слегла", значит, у Ивана Кузьмича есть сестра и брат Петр.

— И как же мы найти?

— Вряд ли он выставлялся, но может быть, упоминается в архивах. Я пошу, а ты... а ты поговори с теми, кто разбирал бабушкину квартиру.

Через три дня Алексей стоял у двери своей бывшей соседки по бабушкиной лестничной клетке — Веры Сергеевны. Она открыла не сразу.

— Алеша? — удивилась она. — Проходи. Чай будешь?

— Если можно. Вера Сергеевна, я к вам по делу. Вы ведь отдавали вещи, когда бабушка умерла?

— Отдавала. Родня твоя как налетела, я еле кое-что припрятала, думала: вернешься, отдам.

Она подошла к комоду и поставила на стол чашку, белую, с синей каймой. Алексей взял ее в руки. На боку — неровный штрих, утолщение и маленькая трещинка на донышке.

— Она самая... — тихо сказал он.

— Что „самая"? — не поняла Вера Сергеевна.

— Та самая, что на картине.

Алексей показал ей фото на телефоне. Она долго всматривалась.

— Слышала от бабушки имя Иван Кузьмич?

— Нет. Анна Петровна о семье редко говорила. Помню, раз пришла, а она стоит у серванта, чашку держит и плачет, говорит: „Осталась одна у всего серванта, последняя".

— Вера Сергеевна, — глухо произнес он, — других бумаг бабушки не осталось?

— Ты альбом забрал. Была еще коробка, но людка из Барабинска ее выбросила или сожгла. — Она вдруг вспомнила:

— Ой, а я-то не только чашку прикрышала, я вам это взяла.

Она протянула ему сложенный лист. Это было заявление, написанное бабушкой от руки:

„В государственную Третьяковскую галерею. Прошу принять в дар картину работы моего дяди, Чагина Ивана Кузьмича... Анна Петровна Вознесенская, в девичестве Чагина. 3 февраля 1998 г."

Алексей держал лист в руках. Бабушка знала, что картина написана ее дядей, пыталась ее найти — и никому ничего не рассказала.

— Ты вот что, — Вера Сергеевна взяла его за руку. — Ты езжай-ка в село. Там, может, дом цел, могилы. Если уж начал искать, то ищи.

Он вернулся в Москву, чашку он забрал с собой. Ирина встретила его новостями:

— Твой Чагин нашелся в списках ссыльных, 1933 год. Статья — „антисоветская агитация". Сослан в Нарымский край.

— Ссыльных? И что с ним стало?

— Не знаю. Может, погиб. А картина попала в Третьяковку

через коллекционера Гудкова. Он собирал живопись самоучек, был арестован в 1936-м. Картина сначала попала в Томский краеведческий, а в 1941-м – в Москву.

– Иван Кузьмич отдал картину Гудкову?

– Может, отдал, а может, у него отобрали. Но у нас есть зацепка – дневники Гудкова в Томском архиве.

– Я поеду в Томск и в село.

– Можно, я с тобой?

– Ир, ну это не приключение. Там минус двадцать, нет дорог...

– Тем более, вдвоем веселее.

Через три дня они сидели в поезде Москва – Красноярск, за окном летела ночная Россия – темные поля, перелески, редкие огни полустанков. Алексей смотрел в черное стекло и видел в нем свое отражение.

– О чем думаешь? – спросила Ирина.

– О том, что я мог бы никогда не зайти в тот зал, но так получилось, что зашел. Причем из-за того, что просто мокнуть не хотел. Если бы не тот дождь – я бы прошел мимо Третьяковки, картина бы так и висела в своем углу, чашка бы стояла у Веры Сергеевны в комоде, письмо летало бы в альбоме... И все это было бы ничем, пылью, забытым.

– Случайность, – сказала Ирина. – А может, и нет.

– Ты веришь в судьбу?

– Не в судьбу, а в то, что некоторые вещи ждут своего часа, и когда этот час приходит, они начинают звать. Чашка звала тебя так много лет, а ты и не слышал, а потом, в тот день, ты почему-то услышал.

— Звучит как мистика.

— А что такое мистика? — Ирина поняла плечами. — Это то, что мы пока не можем объяснить, но можем почувствовать. Ты почувствовал — и понял за этим, разве этого мало?

Поезд качнуло. Где-то в коридоре звякнул стакан в подстаканнике.

— Я всю жизнь считал, что память — это личный груз, — сказал Алексей тихо. — Что нужно аккуратно вперёд, а не назад, что старые фотографии, письма, вещи — это сентиментальный хлам, который мешает жить. А теперь оказывается, что весь этот хлам — единственное, что у меня осталось.

— Не единственное. У тебя остался ты сам, ну, еще ты не знал, из чего сделан.

— Из чего?

— Из этих людей, из этого села, из их решений, ошибок и надежд. Мы все сделаны из тех, кто был до нас, а большинство об этом не задумывается. А ты — задумался.

— И что мне с этим делать?

— Для начала — просто быть с этим, а потом — решать самому. Что-то еще...

В Красноярске их встретил мороз. Они добрались до Боготола, а оттуда — на попутке до поворота на Старое Гарькино.

— Туда пять километров, — сказал водитель. — Снег по колено, но вы молодые, дойдете.

Они шли по заснеженной дороге. Село оказалось

маленьким — шесть-семь домов. Старые, бревенчатые, с заколоченными окнами. Алексей достал фотографию из альбома — дом с резными наличниками. У третьего дома увидел знакомые узоры: солнечный круг, волнистые линии. Дверь была приоткрыта, он потянул — она поддалась с ужасным скрипом.

Внутри темно и холодно. В горнице пусто, голые бревенчатые стены, печь с обвалившейся штукатуркой. Алексей подошел к задней стене.

— Вот здесь было окно, и на подоконнике — чашка. Отсюда видно дорогу, Иван Кузьмич стоял здесь, смотрел на свою семью и на окно за их спинами. А потом ушел, и стул остался пустым.

Выйдя из дома, за ним, под сугробом, угадывались очертания могильных холмиков.

— Здесь они, — сказал Алексей. — Те, кто жил в этом доме.

Он постоял немного, потом разгреб снег у одного из холмиков — под снегом оказалась земля, мерзлая, твердая, как камень.

— Простите, — сказал он вслух. — Простите... что так долго.

Ирина стояла рядом, не говоря ни слова, потом взяла мо под руку.

— Пойдем, Алеша. Теленеет, мы не успеем дойти до дороги.

— Успеем, только дай мне минуту.

Закрыв глаза, он представил, как лет сто назад в этом доме зажигали лампу, садились за стол, наливали кашу в миску. Как маленькая Вера смеялась, а художник просил ее не вертеться. Как за окном падал снег — такой же, как сейчас. Как чашка стояла на подоконнике и отражала огонь лампы. Все это было, но прошло, а осталось только на холсте.

— Пойдем, — сказал он.

В Томске, в областном архиве, Алексей держал в руках дневник Гудкова. Там была запись:

„12 марта 1929. Сегодня принесли картину. Крестьянский жанр, автор неизвестен. В окне — чашка фарфоровая, мне почему-то вспомнилась моя матушка...".

А в отдельной тетради он нашел список: „Картины, полученные от И.К. Чагина".

1. Семья за столом.
2. Портрет матери.
3. Портрет сестры.
4. Натюрморт с чашками.
5. Дом в Старом Гарбееве.

Алексей сфотографировал страницы. Теперь-то они знали, что автор — Чагин.

— Но нет самого главного, — сказала Ирина. — Подтверждения, что картина в Третьяковке — именно та самая, и что Чагин — твой родственник.

— У меня же есть письмо его брата.

— Алем, письмо Петра — это не письмо Ивана. Нужен документ, написанный самим художником.

— А как? Если бабушкины документы выбросила старшая из Барабинска.

— Значит, нужно найти свидетелей.

Алексей дозвонился до не дочери и купил билет в Барабинск. Дом старшей стоял на окраине. Она лежала на диване, худая и изможденная. Увидев Алексея, улыбнулась:

— О-о, племянничек. Что, чашку свою ищешь?

— И чашку тоже, — спокойно сказал Алексей. — Но больше — бумаги бабушкины.

Старшая отвела глаза.

— Я их не выбрасывала, врать не буду: сначала хотела, много хлама там было, жуть, тетрадки какие-то, писала. Я подумала: зачем это мне? Ну и... сожгла.

Алексей почувствовал, как внутри резко все обрывается.

— Сожгли?

— Да, но не все. — Она села на диване, скрестила ноги на пол. — Одна тетрадка-то у меня осталась. Я ее почему-то не выбросила, может, сама хотела прочитать, но так и не прочитала. — Встала, пошла к старому шифоньеру, долго рылась в нем, потом вернулась с толстой тетрадью в клеенчатом переплете.

— Вот, возьми, только учти: я ее тебе не дарю, дай тысячу рублей.

— Старшая...

— Тысячу! Или ничего.

Алексей отдал деньги, вышел на улицу и открыл тетрадь. На первой странице было написано: „Иван

Кузьмич Чагин. Записки для памяти. Начато 2 января 1916 года".

Он читал:

„2 января 1916. Докончил картину, семью писал... Чашку поставил на окно. Мы из нее чай пили, когда Вера родилась, когда отец помер. Всегда из нее, мать ее берегла...

„15 июня 1931. Нас высылают в Нарым. Дом отобрали, картины мои — часть сгорела, часть пойдет неизвестно куда. Чашка у Веры, она ее в тряпицу завернула и за пазуху спрятала..."

„17 августа 1932. Нарым. Писать почти нечего, но я все равно рисую. Нет холста — на фанере, фанера кончилась — на бересте..."

„3 февраля 1933. Заболел, лежу. Я все это помню, я это написал. Если кто прочитает — знайте: мы были, любили, боялись, ждали и надеялись. Иван Чагин".

Алексей закрыл тетрадь, не заметив, как подошла Ирина.

— Он знал, что его картины сохранят людей, которых он любил, — глухо сказал Алексей. — Только вот не знал, что его имя сотрут, хоть и был прав.

— Теперь уж знает.

Через месяц они подали в Третьяковскую галерею заявление о пересмотре атрибуции. К заявлению приложили копии дневника Чагина, письма Петра, выписки из дневников Гудкова и бабушкино заявление. Комиссия вскоре признала атрибуцию убедительной.

Прошло три месяца. Алексей стоял в Третьяковской галерее, в том самом боковом зале, перед картиной,

а рядом была новая табличка. „Иван Кузьмич Чагин (1888–1942?). „Семья за столом". 1916. Из собрания А. Н. Гудкова. Поступила в музей в 1930 году". Картину перевесили из зала неизвестных художников в зал провинциального жанра, хоть и не в главный зал и не в парадную анфиладу, – но все-таки туда, где ходят люди и смотрят.

Алексей пришел сюда один. Ирина была занята, но он и не звал ее – хотелось побыть с этими людьми наедине. Он долго смотрел на полотно. Четверо за столом, теплый ламповый свет, миска с кашей, краюха хлеба, ложки, чашка на окне. Теперь-то он знал их всех. Мать – с резкими, крупными чертами лица, сестра – в платке, повязанном небрежно, брат Петр – с темной бородой и усталыми крестьянскими глазами, маленькая Вера, которая разобьет чашку в 1941 году, Иван – отсутствующий, но присутствующий в каждом мазке.

Знал он, что Петр дожил до 1947 года, Варвара умерла в 1944-м, Вера вышла замуж и уехала в Новосибирск, где родила дочь, которая стала матерью Алексея, что Иван погиб в лагере или по дороге – точно неизвестно, и от него остался дневник, несколько картин и эта. Их больше нет, дом разваливается в нежилом селе, могилы занесены снегом, но они смотрят с холста, сидят за столом, и их ламповый свет горит для того, кто умеет видеть.

– Это ваша любимая картина? – спросил парень лет двадцати.

– Моя, – сказал Алексей.

— А что в ней такого? Люди сидят, едят... или не едят...

— Художник написал ее, потому что она связывала его семью.

— Понятно, а кто он?

— Иван Кузьмич Чагин, крестьянин из села Старое Гарбеево. Погиб в лагере.

Парень потал плечами, сфотографировал картину и собрался уходить.

— Постойте, — сказал Алексей. — Если встретите еще кого-нибудь у этой картины, скажите, чтобы подошел ближе и посмотрел на чашку.

— Зачем?

— Просто скажите.

Снова потав плечами, парень ушел, на ходу надевая наушники. Алексей остался один, смотрел на картину и думал, что однажды, может быть, через десять, двадцать, сто лет, кто-нибудь еще остановится здесь и посмотрит. Почувствует то же, что почувствовал он, как из прошлого, из глубины холста, на него смотрят люди, которые когда-то жили, которые смеялись, ссорились, ждали, боялись, надеялись, которые и исчезли, но не до конца, потому что один из них однажды взял кисть и решил, что это нельзя потерять. И не потерял ведь.

Алексей еще раз взглянул на чашку, на ее синюю кайму, на неровный штрих, на блик, который так старательно выписал художник сто с лишним лет назад.

— Спасибо, — сказал он тихо. Пошел к выходу, ощущая

в кармане легкую, невесомую тяжесть фарфоровой чашки, которую теперь будет хранить всегда.